Глеб Горышин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И ВЗДОХ ОСИН ПРИ КАЖДОМ ШАГЕ...

ЗАПИСКИ ПРОШЛОГО ЛЕТА

12 августа. Сельга. Утром видел в небе двух ястребков (коршунков). Ласточки... Прошлый год, помню, сокрушался: ласточек нет – ласточки нынче есть. Лето сей год раннее, с опережением на две недели, только и говорят: «Уже разрешили брать бруснику». Кто разрешил? Кому? Брусника сама разрешает себя брать: нальется красным соком – бери меня.

Ходили с внуком Ваней на Геную, поймали шесть здоровых окуней. Я их выпотрошил на уху, а внутренности, маленьких окушков понес Алеше с Олей, их кошке с котятами. Окуней оставил на крыльце своей избы. Алешин-Олин пес Мишка (в щенячестве походил на мишку, так и назвали) по рыбному запаху прокрался, всех шестерых окуней заглотил в свою ненасытную собачью утробу. Ладно мы с Ваней еще набрали только что народившихся подосиновиков, малины. Поели жареных грибов с картошкой, попили чаю с малиновым вареньем.

На дворе переменно: и дождь и солнце. На душе у меня препакостно: не избавился от судорог нечеловеческой городской жизни. Первая мысль здесь, в деревне: можно стать человеком. Как? Пока не знаю. Только посредством долгого пребывания в лесах. Здесь мысли приходят простые, как первой необходимости действия. Взошел от Озера на горушку, сквозь строй кипрея, крапивы в твой рост, первое дело – что? Бери косу, выкашивай для себя место в дикой траве. Траву косить – человеческое занятие, не то что в городе сидеть в каком-нибудь «бистро», пить гадкое пойло «фанту», давиться «хот-догом», воображать себя наверху блаженства... Косишь траву, обретаешь в себе человека. И затапливаешь печь, заботишься о пище насущной. А до того еще нужно было проплыть в лодке по Озеру, на веслах, тоже вселяет надежду, находишь в себе человека, забытого в городе, ненужного там, а здесь ты сам себе нужен, за тебя никто не сделает.

Июнь – июль были жаркие, с дождями, в лесу всего народилось. Дачница Галина Алексеевна сказала: «Белые грибы пошли шестого июля». Не пятого, не четвертого, а шестого. Сегодня двенадцатое августа. Белые грибы оставили по себе кое-где старые ноздреватые горбушки, новые не растут: «Слой прошел». Я опоздал к «слою». Хватит ли грибницы для еще одного «слоя»? Поживем – увидим. Хотя... предположение: «поживем» – становится эфемерным, как простейшее: «хлеб пожуем».

В Корбеничах природный пекарь («отец мой был природный пахарь») Михаил Осипович печение хлеба прекратил. Ищут нового пекаря (пахарь никому не нужен). Найдут ли? Где его взять? Хлеб в Корбеничи иногда завозят из Тихвина – мучнистый, рассыпающийся в руках. Теплого, заквашенного своим пекарем хлебушка нам уже не жевать.

На доме волостной управы (администрации), бывшего сельсовета, нет никакого флага. В каком государстве живем? Есть ли у нас государство?

В нашей деревне новости: умерла Галина Михайловна, жена Валентина Валентиновича, преподаватель высшей математики; все, бывало, шастала по лесам неспешной, мягкой походкой; ягод-грибов найдет – и мне принесет. Я ее отводил в те места, где ягоды и грибы, а после она сама все разнюхала лучше меня. Галина Михайловна была женственная, утонченная и практически отважная особа, с ясным, математическим складом ума. Она умерла от скоротечного рака (ладно, когда он скоро течет). Говорят, Валентин Валентинович сам не свой, сидит и рыдает в городе, в Сельгу не едет, хотя у них с Галиной Михайловной посажен-возделан большой огород.

С Берега пропал Валера Вихров, ну да, тот самый – помните, появлялся в моих записках, наряду со здешним хозяином – Лешим... Валера носился по Чухарии на мотоцикле, грозился дачников извести под корень, два года назад поджигал мою избу. Он был народным мстителем, вепсским моджахедом... Дачница Галина Алексеевна, кандидат в мастера спорта по академической гребле, инструктор туризма всероссийской категории, седовласая дама, уверяет, что у Валеры паранойя, хотя паранойя – болезнь великих мира сего...

Нынче летом Валера с отцом, Василием Егоровичем Вихровым, механиком Пашозерского совхоза, поменяли нижние венцы в избе Гены. Гена работает в Питере на мясокомбинате, не знаю кем, у него есть кавказская сторожевая овчарка Гера, страхолюдного вида, натасканная брать людей за горло. Идешь мимо избы Гены, судорожно сжимаешь в руках камень, палку, рукоятку ножа... Изба была моя, я купил ее у местной вепсской женщины Галины Кукушкиной, в 1984 году, за триста рублей. Документов на куплю-продажу домов тогда не оформляли, я удовольствовался распиской домохозяйки. После, когда разрешили, так и не собрался оформить, по несобранности моей натуры. Галина Кукушкина продала избу второй раз Гене, не знаю, за сколько. Теперь живу в Сельге в избе, купленной вместе со мной моим другом, тоже недооформленной. Ну, ладно, живу и живу; начнешь оформлять свои отношения с социумом, на жизнь и времени не останется.

Все говорят, что Валера Вихров получил от Гены за подведение нижних венцов (работа сделана капитально) полтора миллиона, переехал в лодке на ту сторону Озера – и пропал. Два месяца искали – не нашли никакого следа. Валеру не видели ни в Пашозере, ни в Шугозере, ни в Тихвине. Валера сгинул.

Галина Алексеевна считает, его посадили в тюрьму за какую-нибудь проделку, на что Валера был горазд. Года через три явится. Пока что концы в воду.

Мой друг из Корбеничей Владимир Ильич Жихарев, уволенный с должности коменданта базы отдыха Тихвинского химлесхоза... Приехала комиссия проверять, а комендант в дупель пьяный... Володя мается в Тихвине, звонил корбеничскому медику Андрею Гребневу, сказал, что взяли в больницу, делали операцию на мочевом пузыре, поделился планами на будущее: берет участок на Ладоге, займется ловом рыбы, то есть рыбу будут ловить другие, а он консультировать. Владимир Ильич Жихарев всегда был великим выдумщиком, как его гениальный тезка. Когда впадал в депрессию, говорил, что убил тринадцать медведей, а в минуты подъема духа – двадцать одного. Бывало, с похмелья – поправиться не на что – жаловался: «Птицы не стало. За весну едва одного глухаря ухайдакал». Поправится, станет самодовольным: «За весну семь глухарей взял. Это моя норма. Больше не надо».

Без Володи Жихарева в Корбеничах у меня нет дружеского приюта (и базы отдыха нет).

Андрей Гребнев построил дом (он сам широкогрудый, как дом, из свежеотесанных сосновых бревен), еще не достроил; строительство дома в наше время, своими руками (Андрей сказал: «При моей зарплате») может затянуться надолго. У дома участок в тридцать соток. Андрей сказал: «Совхоз дышит на ладан. Большинство наших землевладельцев – пенсионеры. Руками здешнюю землю не вскопаешь, нужен трактор или лошадь. А где взять?» Андрей сказал, что придет в Нюрговичи помогать строить дом Алеше Гарагашьяну.

Напомню: Алеша – мотогонщик, его жена Оля училась в Политехнике на отделении кибернетики; они расстались с городом, четвертый год безвыездно живут в Нюрговичах на Горе (в Сельге), с решимостью переквалифицироваться из дачников в коренные жители. Алеша только вернулся с Алтая, где участвовал в первенстве России по мототуризму, проделал сверхсложный маршрут: Барнаул – Рубцовск – Лениногорск, с заездом в Казахстан, оттуда по конным тропам и так, по азимуту, в Кош-Агач, по Чуйскому тракту в Бийск. Алешина команда заняла первое место (Алеша был капитаном команды), у него медаль чемпиона России.

Я зашел к ним с Олей в избу, единственную без русской печи (Алеша разобрал, выкроил пространство), Оля, сияющая, как лампочка Ильича, слушала рассказ своего повелителя о совершенных им подвигах, на столе

разложены подробные карты Алтая, Алеша переживает проделанный маршрут. «Вот здесь один свалился с моста в реку, чуть не погиб, мост был в две доски. Вот здесь ставили лагерь... Все оказались не очень подготовленными,— сказал Алеша,— я самый подготовленный...» Еще бы не подготовиться, круглый год носясь на мотоцикле по чухарским дебрям.

Мы с Ваней шли из Корбеничей в Нюрговичи, нас догнал трактор «Беларусь», с телегой на прицепе, с мужиками в телеге, о чем-то оживленно разговаривающими, курящими, разводящими руками, как на картине Перова «Охотники на привале». Далее начинался подъем, размытый потоком в ущелье, проезжий разве что для лунохода. Мы с Ваней ушли вперед, трактор остановился у начала подъема. Через четверть часа он опять нас догнал, мужики все так же курили, разводили руками. В кабине «Беларуси» сидел вепс Коля, множество раз попадавший мне на дороге (и я ему). Трактор остановился, нас пригласили в телегу, с высокими железными бортами, предназначенную для перевозки кормов и удобрений.

Начался наш маршрут высшей категории трудности. Тракторист Коля газовал по обочине, телегу швыряло, ветки елок хлобыстали нас по сусалам. Если бы устроили первенство России по гонкам на тракторах «Белорусь» (списанных совхозами на металлолом) с телегами, по маршруту Корбеничи — Нюрговичи, тракторист Коля, несомненно, занял бы первое место. В телеге была лодка, в мешках, по-видимому, рыбацкие снасти. Мужики из деревни Озровичи, трактор, надо полагать, Колин (списанный, купленный); у каждого из едущих на рыбалку свое характерное вепское лицо, с усами, подусниками; на лицах выражение крайней веселой решимости: доехать, рыбу взять. Понятно, что едут на Генозерко, дорога одна... Я напомнил мужикам, что в прошлом году Соболь снарядил точно такую экспедицию на Генозерко... Один трактор (совхозный) сломался на полдороге, пригнали другой, он увяз в плывуне за Сельгой... Мужики усмехнулись: «Мы не Соболь...»

Примерно в это же время (двумя днями ранее) директор Пашозерского совхоза (акционерного общества) Михаил Михайлович Соболь со товарищи в обеденное время сидели за столом в его (Соболя) новом доме на берегу Пашозера. У дома стояли две красные «Нивы» (моя третья) и УАЗ. Хозяин, как всегда, выложил передо мною свои козыри: «У меня в личном хозяйстве корова, бычок оставлен на мясо, боров, овцы, гуси, куры. Меня уволят, я проживу. В совхозе сохранено стадо быков — 1600 голов. Я сократил пятнадцать специалистов, скоро в конторе совхоза останутся двое: директор и счетовод...»

Соболь потчевал моего внука Ваню: «Ваня, ешь масло. Масло свое, домашнее».

Жена Михаила Михайловича Соболя Наталья, красивая, крупная, темноокая женщина (вспомним, что Соболь с семьей приехал из Белоруссии), в джерси сдержанных тонов, в туфлях на гвоздиках, занимает должность главы Пашозерской волостной администрации. Понятно, что Наталья управляет волостью — в кабинете — в одном обличье, скотиной на домашней ферме — в другом.

Приеду в деревню, обживусь, всякий раз приходит на память, как вытверженное, свое: «Опять я в деревне. Хожу на охоту, пишу мои вирши — живется легко». Ближе всего лежит, проще, то есть лучше не скажешь. Интересно бы поисследовать, у кого из поэтов мы взяли больше всего строк, строф, образов для самовыражения, понимания, кто мы такие. Крылатые фразы поэтов и нас окрыляют. В этом отношении первый, конечно, Пушкин, а следом за ним (местами и поперед) Некрасов. Блоковское: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои...» — красиво, но вне тебя, а некрасовское: «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село...» — в тебе. У Некрасова твоя родина — в грустно-прекрасном отдалении. У Есенина как вода в роднике: прикладывайся губами, глотай, утоляй жажду-потребность быть русским. Нет в тебе этой жажды или утолил ее чем другим (как нынче пишут на боках троллейбусов: «Новое поколение выбирает пепси»), и говорить с тобой не о чем, отойди, не путайся под ногами. Есенин дал русской душе так нужные ей слова — упиваться сладостной тоскою по родине. Есенину предшествовал Некрасов...

Живя в лесной деревне между Ладогой и Онегой (летом 1995 года), думаю о Николае Алексеевиче Некрасове – прочел книгу Николая Николаевича Скатова «Некрасов» (ЖЗЛ, 1994 г.) Такая редкость нынче – новая книга для чтения-размышления! Воистину наслаждение читать умную, с близкими тебе мыслями, со знанием твоего родного языка написанную книгу. Как все равно идти по борам, смотреть на Озеро, на изгиб реки в крутых бережках...

Опять она, родная сторона,
С ее зеленым благодатным летом!
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом.

У Некрасова было село Грешнево, потом Карабиха, барский дом, поместье, охотничьи угодья под Чудовом. У Тургенева – Спасское-Лутовиново. У Толстого – Ясная Поляна. У Островского – Щелыково. У Пушкина – Михайловское. Достоевский – самый городской наш писатель, и тот купил дом в Старой Руссе, над рекой Перерытицей. «Тихий Дон» – из жития Шолохова в станице Вешенской... Русскому писателю для осуществления таланта нужна почва – сельщина, уходящая корнями в века, с ее языческим отношением к природе как живому лицу; здесь черпали любовь, красоту...

Но чтобы обрести в себе «родную сторону» как лучшее в мире, родину поэзии, наши искусники слова – каждый по-своему – пережили отрыв-отлучение от русской почвы. И затем возвращение. Горше всех досталось свидание с родиной после разлуки Есенину: вернулся с распростертыми объятиями – «К черту я снимаю свой костюм английский», а родная сторона стала чужой – «В свое стране я будто иностранец»...

В судьбе Некрасова особенно явственно прослеживаются драматические линии отрыва от родной почвы, покаяния, возвращения – обретения поэтических сил, божественной настройки таланта с запасом на вечность. Прочесть судьбу Некрасова (судьба поэта в его стихах) как нечто лично тебе причастное, живое, развивающееся в понимании, дает возможность книга Николая Скатова «Некрасов». Закрываешь последнюю страницу и задумываешься...

Прослеживание «линии» – это одно, а человеческая личность, тем более отмеченная знаком гениальности, так же загадочна, как Вселенная. Кто таков был на самом деле Николай Алексеевич Некрасов? Неуемный охотник, в одиночку хаживал на медведей, в одном письме Тургеневу похвастал, что свалил девяносто одного дупеля. Игрок по-крупному, в финансовые игры. Петербургский барин первой статьи. Главное лицо в русской журналистике своего времени. Муж жены своего друга Ивана Панаева. Великомученик, страстотерпец, почивший в немыслимых страданиях (рак прямой кишки). Самый «простонародный» из поэтов-дворян. А до всего этого побыл в рубище «бедного человека» из романа Достоевского, обжил петербургские трущобы. И – завоевал целый мир, властью денег.

Нам не побывать на некрасовских охотах на дупелей или на медведей (с ним бывала его последняя пассия Зиночка, по оплошности застрелила любимую собаку Некрасова, в угодьях под Чудовом; хозяин поставил собаке памятник), не посидеть рядом с ним в игорных гостиных, не заглянуть за шторы его амурных романов... Вот бы кто-нибудь написал роман о Некрасове! Но где возьмешь романиста?! Да и жанр романа о корифее литературы – французский. Наш удел – литературоведение, в этом мы преуспели.

Долгие годы наши некрасоведы довольствовались тем, что открыл в Некрасове Ленин: по мнению Ильича, Некрасов обретался где-то между Чернышевским и либералами; будучи лично слабым, склонялся к либералам. В своей книге Николай Скатов «переоценивает» ленинскую оценку поэта, ищет и находит в личности, деяниях Некрасова не «слабость», а «силу». Ну, хорошо, допустим, Некрасов не колебался между тем и этим, отвечал на хамское к нему отношение Герцена, а потом и друга Тургенева гордым молчанием, не звал заодно с Чернышевским Русь к топору, то есть явил отменную силу духа. Но разве такая перемена оценочного знака приближает нас к пониманию личности и судьбы Некрасова? Едва ли. Фигура проникновенного певца русской грусти и в то же время журнального магната не теряет ореола загадочности. Это я не к тому, что автор книги о Некрасове Скатов «снизил тему», «упростил задачу». Но тайна сия велика есть. Стоит, стоит потратить жизнь, чтоб попытаться ее раскрыть.

В книге Николая Скатова «Некрасов» сильно выражено личное авторское начало, то есть исследование представляет собой современное прочтение судьбы и стихов Некрасова, с непосредственным сопереживанием, как будто поэт поделился с грядущим – через полтора столетья – истолкователем чем-то сокровенным. Кстати, заметим, что автор книги о Некрасове, как и его герой, тоже родом с берегов Волги, трудами и дарованиями поднялся из провинции в петербургскую ученую элиту, возглавил Пушкинский дом... Но это уже биография Скатова, его личное дело, а перетолковать биографию Некрасова, изобилующую, мягко говоря, парадоксами, в выгодном для классика свете... для этого нужен тонкий психологический инструментарий. К тому же, что важно отметить, Николай Скатов первым предпринимает капитальное исследование творческого пути, личности поэта без оглядки на указующий перст Ильича. Так что перед нами... новое открытие Некрасова, некрасоведение с красной строки.

Вот, к примеру, такой эпизод: в империи в очередной раз разгул реакции, передовые журналы закрывают, золотым демократическим перьям грозит заточение. Связи Некрасова с приближенными к трону персонами не выручают. Обычно расчетливый, выдержанный, дальновидный, Некрасов решается на рискованный шаг: сочиняет хвалебную оду в честь всемогущего сатрапа – одиозной фигуры в глазах образованного общества, «вешателя» Муравьева. Он оглашает оду на одном из званых вечеров в аристократическом салоне, в присутствии многих лиц. И что же? Сатрап высокомерно отмахивается от лести пиита. Автор злополучной оды погружается в бездну отчуждения: общество отворачивается от него, журнальная братия злорадствует, друзья не подают руки, больше чем друг, брат по крови Тургенев насупливается – до гробовой доски. Этот эпизод принято было относить на счет «личной слабости» Некрасова.

Скатов заново входит в психологические обстоятельства происшедшего. Ход его мысли примерно таков: Некрасов, с его логическим складом ума, просчитывал ходы, умел предвидеть последствия того или иного поступка. Вряд ли надеялся на фортуну и в данном случае. Предвидел худшее, но счел нужным... К тому же не искал какой-либо личной выгоды, самому ему ничто не угрожало. Поставил на карту собственное доброе имя, дабы использовать шанс (прочесть оду «вешателю») – в интересах общего дела. Даже в этом «постыдном» в глазах современников поступке Некрасов проявил необыкновенную крепость духа, силу характера, пожертвовал собою для пользы общего дела. Такова версия Скатова.

Очевидно, другой на месте Некрасова, так было принято у проигравшихся дворян, подался бы за утешением в Европу... Некрасов тоже бывал в Парижах, но не засиживался там, как его друг Тургенев; заграница не оставила заметного следа в его поэзии. В отличие от своих даровитых современников, поэт не взирал на Россию сквозь зарубежную призму, а возвращался на родину – за душевным исцелением, как в обитель поэтического дара, к сестре, могиле матери, грешневским мужикам – товарищам по охоте. Собственно, вся судьба Некрасова, ее драматический сюжет, если угодно, фабула, состоит из отрывов-возвращений, падений-возвышений.

Николай Скатов в книге о Некрасове сосредоточивает внимание на диалектике характера, жизненного пути своего любимого героя, разумеется, в не менее диалектических реалиях российской действительности, прослеживает путь как цепь парадоксов, непрестанное перемещение из одной крайности в другую. Он как бы вскрывает парадоксы изнутри, добираясь до сути; избранный исследователем (и превосходным писателем) метод сказался на построении книги, даже на стилистике. Вот, к примеру: «Некрасов действительно был русским человеком, несчастным исчадием русской жизни с ее неизменными крайностями и неизбежными полярными противоположностями личного и общего, доброго и злого, богатого и бедного. Все это нес в себе».

Понятно, что приведенное умозаключение суть прозаический пересказ песенки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

«Ты и убогая
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь...»

Мы можем сегодня заметить, что острослободневные для своего времени стихи Некрасова пророчески предсказали и историческую перспективу, вплоть до нашего с вами бытования на Руси. Прошло полтораста лет, а «жить в эту пору прекрасную», каковую лелеял в воображении поэт, помышляя о будущем России, все так же «не придется ни мне, ни тебе». Разве что «пора прекрасная» нынче рисуется кому-нибудь по-другому.

Да, мы верим Николаю Скатову: в чем был силен Николай Алексеевич Некрасов, дворянский сын, дитя питерской трущобной нищеты, так это в неподдавании обложившим его со всех сторон рев. демократам, им же вскормленным, выведенным в люди; он-то точно знал, что в России «ничего не будет». Читая книгу Скатова, проникаешься пафосом автора, веришь в силу его героя на различных поприщах, но не оставляет тебя и мысль о человеческой слабости этого, по некоторым признакам, рыцаря без упрека. Если бы в Некрасове не было душевной слабины, откуда бы взялись горестные стенания его лиры? Говорят, что плачут от слабости. Но каково бы нам было без утишающих горе слез? Николай Алексеевич Некрасов, как никто другой (разве что Есенин), оставил нам гениальные примеры плача... по самим себе: «Выдь на Волгу, чей стон раздается...», «Плакала Саша, как лес вырубали...», «И пошли они, солнцем палимы...», «И духовно навеки почил...». Это только самое близкое в памяти, на слуху. А еще в стихах Некрасова – вся Русь, с ее народом, природой, каковыми их создал Создатель – и препоручил слабому рабу своему не переделать содеянное, а воспеть и оплакать.

Юный романтик-революционер Добролюбов, наблюдая вблизи своего покровителя, редактора журнала «Современник» Николая Алексеевича Некрасова, дивился мощи заложенных в нем титанических сил, пытался внушить ему мысль, что он, Некрасов, мог бы стать русским Гарибальди, вождем в борьбе за освобождение народных масс. Юноша Добролюбов убивался, что титан тратит силы по пустякам: на журнальные баталии, медвежьи охоты, деревенское сибаритство, писание «простонародных» стишков. По счастью, Некрасов не внял уговорам своего юного неистового друга (Белинский был еще неистовее, и того пригревал-охлаждал Некрасов) и стал тем, чем стал.

Как подумаешь надо всем этим (над страницами книги Николая Скатова), сами понятия «сила», «слабость», «свобода», «борьба» отступают в область бессодержательных абстракций. Современное прочтение Некрасова суть осознание сказанного в стихах поэта частицею собственного Я. Не хочется изрекать банальностей, вроде того, что Некрасов – национальный русский поэт, но и нельзя ощутить себя вполне русским без Некрасова (как ученому немцу не ощутить себя таковым без Гегеля)... «Выди, выди в рожь высокую, там до ночки подожди...», «Вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе...», «Как молоком облитые, стоят сады вишневые...» – можно доставать из памяти еще и еще примеры. Все это у тебя в мозгу костей.

Нынче русская нация переживает роковой момент в истории своего тысячелетнего существования. Вопрос: кто мы такие? – из области отвлеченных умствований переместился на реальную почву существования каждой ячейки жизни в России. Под угрозой уклад, характер, границы, природная среда, средства существования, литература, сам язык... В естественных, порою судорожных поисках, на что опереться, чтоб не упасть, обращаешься мыслью и сердцем к гениально запечатленной в слове поэта истине – о нас, русских.

Это я к тому, что книга Николая Скатова «Некрасов» написана, издана как нельзя более ко времени. Поклон ее автору... от читателя из деревни Нюрговичи Алексеевской волости Тихвинского района.

21 августа. Тишайший прохладный день. Проводил внука Ваню на автобус. Так мы славно пожили с чадом моей любимой дочери Анюты. Теперь я один у меня на Горе. Зеркально Озеро. Накануне ночью был заморозок.

Вчера собирал в бору новорожденные беленькие. Пополудни пришли с Берега Валерий и Юра. Валерий был физиком. Что такое физик, я не знаю, но многие шли в физики, физичили до конца, никто не уходил из физиков, как не уходят из писателей (правда, был один поэт, завязал со стихами, ушел

в мясники). Валерий ушел из физиков, поскольку физика перестала кормить. Год назад от Валерия ушла жена, уехала в Германию с сыном. Нынче Валерий прокрался туда, в Германию, в Мюнхен или Кельн, выследил (он сказал: «вычислил») своего сына в университете, явился ему, как тень отца Гамлету.

Валерию под полтинник, он переломил судьбу, ушел из физического института, закончил курсы английского языка, одни и вторые, будет преподавать инглиш нашим юным лопоухим англоманам.

Юра Аверин, как большинство дачников на Берегу, гидротехник (у нас на Горе тоже есть один, доктор технических наук, из той же плеяды). Своих однокашников завлек на Берег Николаенко, гидростроитель; подпирающая Гагарье озеро плотина, река Калоя, превращенная в канал,— его рук дело. Предполагали озеро обрыблять.

После застолья у меня в избе перешли к костру на угор. Технари запели песни своей молодости, петые у костров. Я тоже сиживал у костров, десятью годами ранее технарей. Запомнилось оттуда только вот это: «Я гляжу на костер догорающий. Гаснет розовый отблеск огня. После трудного дня спят товарищи, почему среди них нет тебя?» Надо бы, для рифмы, спеть: «Почему среди них нет меня?» Но тогда бы вышла ахинея.

Почему-то приходит на память дурацкая песенка, может быть, с войны или еще раньше... «Николай, давай закурим, спички есть, бумагу купим». В куреве важнейшим компонентом была бумага, важнее, чем табачок. Раз был такой случай: я работал в изыскательской партии в Забайкалье, прокладывали лесовозную дорогу за Селенгой. В партии был ездовой Ванюшка, возил на коне во вьюках имущество, доставлял с базы провиант, письма. Я его попросил привезти свежих газет, дал на газеты денег. Мне хотелось быть в курсе событий текущего дня. Ванюшка привез пачку газет «Унэн», на бурятском языке. Ему и в голову не пришло, что газеты заказывают не на курево, а на что-то другое.

Мы хорошо посидели с береговыми дачниками, выпили, закусили жареными грибами: белыми, подосиновиками, подберезовиками, маслятами, моховиками, сыроежками. С похмелья поламывает, что-то внутри постанывает, свербит. Похмелье, конечно, болезнь тела, но прежде всего истома совести: совесть томится. Ее надо выхаживать, как занемогшее дитя, ласкою, уговорами, добротою, ношением по лесам, по лугам, по зеленым берегам...

В лесу такая тишина,
что слышен рост гриба во мшаге.
Как снег, кипрея седина,
и вздох осин при каждом шаге.

Пришла Галина Алексеевна, сказала, что встретилась с медведем, в бору за Саркой. Медведь совершил два прыжка в направлении встреченной в лесу седовласой дамы. Его прыжки мощны и грациозны (со слов Галины Алексеевны). Медведь порыскал, остановился, привстал на дыбки... Галина Алексеевна (кандидат в мастера спорта по академической гребле, инструктор туризма всероссийской категории) замерла... «Я вот так стою и ничего не чувствую, как будто в пропасть лечу. Со мною было в одном походе... Он постоял на дыбках и пошел, не ко мне, но и не от меня, а вокруг. Я вот так вот прихлопнула в ладоши, он рыкнул и скрылся. Но оставался где-то вблизи меня».

Галина Алексеевна шла по нашей деревне от себя ко мне, на нее кинулась жуткая, серая, натасканная на людей собака Гены Гера, укусила за локоть. Собака Гера много хуже медведя. В нашей деревне поселилось зло: четвероногое, в густой шерсти, с обстриженными ушами. Сам Гена — красавец: поджарый, лысый, в цветном блестящем спорткостюме, его баба — толстая, рыхлая, с дымящейся сигаретой в зубах, издалека кланяющаяся, может быть, не злая.

Чего не стало в нашей деревне, так это коз и козлов, на коих строятся планы, зиждутся надежды всякого начинающего фермера или долго живущего на селе дачника. Оля сказала: «Я же принимала у козы роды, все козлятки попадали в мои руки. Они ко мне обращались: «Ма-а! ма-а!» И что же — их потом резать? Нет, я не могу».

Алеша в это время что-то подвинчивал в мотоцикле, помалкивал.

Как-то я высказал ему такое предположение: «Ты становишься самой известной личностью в округе. Доркичев уже старый. Будут перевыборы волостной головы, тебя бы могли выбрать. Ты не хочешь баллотироваться?»

Алеша отнесся к такой перспективе спокойно, рассудительно: «Вообще-то я не пью, в технике кое-что понимаю. Могли бы выбрать. Но я как-то не расположен. Не хочу».

Недавно был Спас – престольный праздник у вепсов. Иван Теклешов сидел дома в Усть-Капше, вполпьяна, нянькался с одногодовалым внучонком Артемом, привезенным дочкой Людой из Шлиссельбурга (Люда работает бухгалтером, живет в общежитии, об отце Артема сведений нет). Иван держал внучонка на коленке, выговаривал ему все выражения, оканчивающиеся на слово «мать», так что ребенок скажет свое первое слово... ну да, по матушке. Иван не то чтобы не вязал лыка, хорошо соображал обстановку, присутствующих лиц, но позволял себе выбалтывать то, что обыкновенно витало в атмосфере, но не облекалось в слова (как сейчас говорят «не озвучивалось»). То есть что было у трезвого Ивана на уме (ум у него приметливый, памятливый), то у пьяного на языке.

– Вот ты писатель,– делился со мною Иван тем важным, что было у него на уме,– и ты завел скот. А скоту – трамтарарам – кто ты такой! Скот исть просит, его надо кормить! Вот Соболь завел полный двор скота. Пока он директор совхоза, он скажет: тово и тово привезите! Ему привезут. А завтра он не директор, скот не знает, ему давай корм. Кто его заготовит? Кто привезет? Это мы всю жизнь при скоте, а Соболь сядет в машину и – трамтарарам...

Ивану хотелось выдать какую-то томящую его тайну.

– Я тебе хочешь расскажу? Ты никому не скажешь? Валерка утопленный, вот. На дне Озера. Мне один говорил по пьянке. Его свои утопили. Другие говорят, что дачники, а я дак думаю, что свои. Из дачников некому, я же вас знаю. Он у Сашки, моего брата, в избе шесть сеток взял. И дом на Гагарьем озере сжег, одной спичкой. Я знаю, он говорил: «Будет дом, в нем дачники будут. Я дачников ненавижу». Придет, говорит: «Сожгу машину Горышина. Одну спичку в бак с бензином...» Я говорю: «Попробуй сожги!» Ты меня любишь, Глеб Александрович? Я тебя вот как люблю. А ты меня любишь?

Я охотно признавался Ивану в моей к нему любви. Так же в ряд, в связку слов, не выделяя из связки, Иван выбалтывал и нечто такое, чего бы лучше не слышать:

– Надо убить Горышина.

Да, и это витает. Теперь убить можно кого угодно. Раньше убийцу находили и казнили, а теперь не ищут.

Приехал Валентин Валентинович с сыном Димой, студентом из Воронежа. Помянули Галину Михайловну, божьего человека. Иван пообнимал Валентина. Валентин сказал:

– Ну что же, умерла и умерла. Надо жить дальше. Я был некрещеным, не мог у Бога просить, чтобы он ее спас. Я окрестился. Просил. Но Бог забрал ее к себе.

В наш конец Озера плыли на моторе «Ветерок».

Сегодня утром пролился обильный дождь. Пойдут грибы... когда-нибудь. Надо идти за грибами, за брусникой, за клюквой, за окунями, за щуками. За чем еще? За собственной смередушкой.

Живу на Горе (и в Чоге) несколько дней, хочется убежать отсюда и одновременно выждать, услышать, как в октябре полетят птицы. Вдруг не полетят? Нынче на Озере не видать уток. Ласточек одна семья на всю деревню.

В Чоге Дмитрий Семенович Михалевич, заслуженный изобретатель СССР, доктор технических наук, профессор, выходит на мокрую луговину, посылает вперед себя ирландского сеттера Криса (Яна померла), тот вынюхивает дупеля, бекаса, делает стойку... Хозяин делает пиф-паф, серенький комочек падает в траву... Хозяйка-домоправительница Михалевича Альма Петровна поджаривает царскую дичь (ту же, что подавалась к столу поэта Некрасова). После вкусной обильной трапезы Дмитрий Семенович проводит сам с собой урок английского языка. Вечером у них в Чоге прием двух

американских охотников. Американцы то ли убили, то ли не убили медведя. Стреляли, вроде попали, но медведь ушел, не нашли. (У Михалевича Крис тоже не нашел одного сбитого дупеля.)

После ужина в русском духе на ранчо Михалевичей заморских гостей ведут в баню – свою, на берегу реки Чоги, неугомонно журчащей на перекатах, от омута к омуту.

В прошлом году ехал, глядел по сторонам, запоминал впечатления в рифму:

Пети, Коли, Васи, Вани
в огородах на задах
по субботам рубят бани
накануне не поддав.

Сладкий дух идет смолистый
от венцов и от стропил.
На деревьях свежи листья.
Коршун по небу проплыл.

К Покрову покроют бани,
пар ударит в потолок...
Оли, Поли, Тани, Мани
заберутся на полок.

Небосвод до боли синий,
избы серые до слез...
Бани делают в России,
чтоб не взял педикулез.

В Чоге заехал к А.П., питерскому боссу, обретшему (с помощью Соболя), как говорят англичане, вери найс плэйс (очень милое местечко), на задах деревни Чога, на берегу одноименной речки. Благодаря своему положению в разваливающемся государстве, а также природной силе, не знавшей куда себя деть, А.П. осуществил то, что было однажды обещано поэтом в хрестоматийном двустишии: «Через четыре года здесь будет город-сад». А.П. за четыре года не выстроил города, не развел сад, но на пустыре воздвиглась ферма, с домом под цинком, скотным двором, гаражом и конечно же баней, с электрической топкой под каменкой (может быть, с электронным управлением). От бани до речки Чоги короткая перебежка – и бултых головою в омут. И опять на полок.

К А.П. приехал его двоюродный брат, военный, служит в Азербайджане, в единственной там части Российской армии. Кузен А.П. сказал, что служить в Азербайджане тяжко, а здесь такая благодать, даже не верится. Кузены выпивали в предбаннике, под малосольные огурчики. Пригласили меня к предбанному столику. Из парильни доносились отзвуки чьих-то телесных восторгов. Вдруг дверь распахнулась, из клубов пара выпростались две розовые, в такого же цвета купальниках (я не сразу понял, что в купальниках), полнотелые дамы. Короткая пробежка до Чоги, плесканье, визги, опять нас обдало искрами от пронесшихся, как шаровые молнии, нимф... А.П. сказал, что это жены – его и кузена-подполковника.

Вчера был поминальный ужин по Галине Михайловне. Ели привезенный Валентином большой астраханский арбуз. Собрались в избе Галины Алексеевны, то есть в избе Ивана Теклешова... Галина Алексеевна наварила вволю картошки – экое благо своя картошка: сходил на полосу, воткнул в землю трезубец, подковырнул, вывалил наружу белые, как ножки у белых грибов, клубни... Нынче картошка на Горе у меня не сажена (весною был в Англии в гостях у фермера-овцепаса Саймона Мида, он тоже картошку не садит), что наводит на меня меланхолию.

Я в жизни был везучий неудачник:
ушла жена,– ну что же? повезло.
Теперь я стал меланхоличный дачник.
Завесил дождь оконное стекло.

Горит в печи еловое полено...
Не надо мне ни водки и ни баб...
В дыре синеет голое колено.
В Гвинее вечно зелен баобаб...

Понятно, что баобаба я подпустил под баб, для рифмы, может, что придет другое, тогда заменю. Стихи я собираю одновременно с грибами, а еще лучше в лугах, с когда-то посеянной многолетней тимофеевкой, нынче не скошенной, белесоватой, как волосы у моей дочери Кати.

В Пашозере одна дамочка сказала: «Разве с нашим народом что-нибудь построишь?» Она имела в виду тот самый народ, из которого вышла, подразумевала под объектом построения капитализм. Дамочка побывала «за бугром», в том месте, куда отпочковался ее сын, с еврейскими, по отцу, кровями. Ей приглянулся вблизи капитализм, а народ там не чета нашему: нет пьяных, недовольных, не матерятся, всякий кует монету, строит свой дом по-европейски... Дама (дачница) смотрит на свой народ свысока, хотя ходит в народ за молоком, творогом, мясом, за лошадью – весной вспахать огород, за мужиками – построить баню. Экстерриториальность в своем народе даме обеспечивает ее муж, умеющий жить в переходный к капитализму период. Довольно распространенный случай дамской прозападной ориентации.

Но вот мой друг, обретенный на Берегу, экс-физик, певец туристических песен у костров, грибничок-рыбачок, со всеми чертами очень русского типажа-«лишенца» (я тоже «лишенец»), мне заявляет: «Русского человека, каким он известен по истории, больше не существует. Поколение, что живет сейчас,– это совершенно иное... По русскому характеру нанесли два тяжелейших удара: в 17-м году и 91-м. Ему уже не оправиться. Человек нашего времени не имеет ничего общего с историей российской... Ее будут изучать как какую-то римскую историю...»

Вот тебе и на: сидит против меня (мы плыли в лодке по Озеру) с ног до головы русский человек; со всех сторон нас окружает такая, как во времена Господина Великого Новгорода, природа, мы говорим по-русски и с матерком, курим папиросы «Беломорканал»... Но мой товарищ не желает быть русским. А каким? Голландским? И он открещивается от родового древа русской истории, как отпрыск француза в Канаде от французской. Что с нами происходит? Опамятуемся ли когда?

Ночью думал о маме, в рифму:

Курила мама «Беломорканал»...
Я был у ней единственный сыночек.
Живя при маме, я еще не знал
про горечь предстоящих одиночеств.

Курила мама «Беломорканал»...
Ее лицо окутывалось дымом.
Я с мамой жил, и я тогда не знал,
что значит быть единственным, любимым.

Курила мама «Беломорканал»...
Я жил прилежно, но неосторожно.
В той жизни я, случалось, умирал.
Меня спасала мама – непреложно.

Курила мама «Беломорканал»...
Моя судьба как адрес на конверте.
Я много жил и многое узнал...
Перекурю невдалеке от смерти.

Утром в Пашозере поехал на машинный двор, в надежде залить бензину: в Шугозере на колонке пусто. Ко двору стекалось, пожалуй, все рабочее население бывшего совхоза. Мужики, парни сидели на корточках – орлами, на крыльце, похаживали. Понятно, что все курили. Помалкивали, нервничали. Иногда от двора отъезжала машина – на заготовку кормов, перевозку сена. В кузов с высокими бортами забиралось несколько мужиков, но большинство оставалось в прежних позах. Рабочий погожий день в сельскую страду утекал куда-то. Здесь же обретался и всегда занятый, руководящий, активный директор Соболь, в кожаном лапсердаке. Он подошел ко мне, объяснил обстановку:

– Сто пятьдесят осталось неуволенных. А надо девяносто.
– А этих куда?
– В лес.

Что значит «в лес»? На заготовку леса или по ягоды, по грибы? Я не понял. Уточнять не стал. Соболь распорядился налить мне в бак бензину. Он пока что еще хозяин этому всему. Чему? Что осталось? На сколько хватит?

Хотел написать, что стоит бабье лето, но еще на дворе календарное, наше северное лето: август. Хожу в лес, собираю грибы, ягоды, как бурундук, запасаю. Солнце просачивается сквозь марево, как, помню, в детстве бабушка доила корову, парное молоко процеживала сквозь ситечко. Молоко было теплое, с пенкой.

Задувает южак, с переходом на восток. Пока что ветер не дует, а дышит.

Вчера был на проводах в город дачников с Берега, в избе Юры Емелина, доцента Политехнического института, хозяина ирландца Дика, мужа жены Людмилы, без прозападной ориентации. У Емелиных не изба – сельский дом, с высоким потолком, крашеным полом, устеленным половиками, обставленный мебелью. Доцент Емелин наловчился вырезывать из капа затейливые вазы, подсвечники, пепельницы – на продажу. На доцентскую зарплату ноги протянешь. Подавали суп из гагары: гагара заглотила окуня-живца на жерлице, попалась, потрепыхалась... Из гагары получился вкусный суп. На второе грибное ассорти: белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, сыроежки. С огорода лук, укроп, редиска, петрушка, картошка, морковка. Людмила испекла в печи пироги – объеденье – с капустой, луком, яйцом, ягодами: морошкой, брусникой, малиной, черникой. Под вечер Юра отвез меня в лодке в мою бухту: гость в застолье отяжелел.

У себя в избе затопил печь, краем уха слышал по радио о численности населения, заразившегося той или другой болезнью путем полового сношения, разумеется, внебрачного: сифилисом больны 50 миллионов, гонореей 120 миллионов, трихомонозом 170 миллионов. Очевидно, информация остерегающая: воздержитесь, не потакайте своим низменным инстинктам. По счастью, в Нюрговичах, будь то Гора или Берег, такой опасности нет; жизнь у нас высоконравственная, аскетическая.

26 августа, вечер. В печи горит сушняк калины красной. Печь топится хорошо, в пасти печной красным-красно.

Галина Алексеевна нашла причину укушения себя собакой Герой. Постучала в избу Гены... Собака как раз охраняла избу. Ей, собаке, ничего не оставалось сделать, как укусить нежданную визитерку. Собака небешеная, ранка небольшая... Галина Алексеевна приготовила целую речь в оправдание собаки Геры, ежели бы кто-нибудь покусился ее наказать. У седовласой дамы психология основана на вседоверии, всепрощении, необиде на кого бы то ни было. Ей не знакомы приступы мизантропии, ипохондрии, депрессии. И – Боже! – сколько в ней воистину лошадиной безропотной выносливости! Сегодня, в вечернюю хмурость, в дождь вдела руки в лямки рюкзака, почти такого размера, как сама Галина Алексеевна, неподъемного веса, пошла по маршруту: Гора – Берег – Корбеничи – Усть-Капша (Маленькая Маша с Иваном). Это километров пятнадцать, на каждом километре крутой подъем, спуск, внизу вечнозеленая лужа или ручей без моста. После Иван рассказывал мне: пришла, рассупонилась и на Озеро купаться. Вот какая женщина есть в нашем селенье!

Галина Алексеевна водит туристические группы, посмеивается над собой: «Одиннадцать мужиков, а во главе старуха».

Сегодня собирал бруснику, белые грибы – занятие неторопливое, без рекордов (а то у нас любят хвастать: «За час набрал ведро»), успокаивающее. В борах малость побаивался медведя, того, что вышел поглядеть на Галину Алексеевну.

Ночь прошла в полусне-полуяви, как будто спал наяву. Проснулся, как часто бывает, с куплетом Вертинского в мозжечке (сказать: в мозгу – было бы преувеличением): «Как хорошо проснуться одному в своем уютном холостяцком старом флэте, и знать, что ты не должен никому, не должен никому на этом свете...»

На дворе дождь. По радио (по «Свободе») смердит Стреляный – наш неизбывный Смердяков. Все про то же самое: наш народ («этот народец»)

лежит на печи, проедает природные богатства, не надевает на себя капиталистический мундир немецкого покроя. Если кто радеет за этот народ (издалека, с пеной у рта), то один Стреляный, говорящий гнусным голосом, с каким-то фонетическим, как у Горбачева, косноязычием, замедленно, со множеством ненужных слов, с выражением хронически катаральным.

Солнце село в чистую, без облаков закраину неба. Днем поливал ленивый дождь, под вечер сбегал на Геную, окуни не клевали, белые грибы попадались с мокрыми головами. Вообще, белые идут ко мне в лукошко, если даже я и не думаю о них, не ищу.

Брусники напарил в русской печи, на поду, целую лоханку, то-то славно!

28 августа. Зарядил непросветный чухарский дождь. Второй день живу без хлеба. Без курева – то и ладно! То и ладно, то и ладно... Далеко до Таиланда. Не дойти туда Ивану, не доставить воз банану. Мы в Чухарии живем, клюкву кислую жуем.

По правде, пока что живем брусникой. Бруснику Ягодой зовут, среди всех ягод возвышая. Ее с поклоном низким рвут, обряд извечный совершая. В борах красно-брусничный рай; осенний праздник полнокровный... Бруснику в горсти забирай, как вымя теплое коровье... Ее, брусничный, долог век, бока в дождях не отсырели. Красна, уйдет под белый снег, бордовой явится в апреле... Непьяным, жертвенным вином – лесному люду для причастья... Бьет в колотушку под окном: «Пора! Вот я! Прими участье!»

Говорят, что нынче урожай на красную ягоду: малину, рябину, бруснику, клюкву. Черника не уродилась. Морошка – желтая ягода, но и ее было полно...

В морошковую пору я пребывал в Якутии – на пленуме Союза писателей России, по поводу единства и многообразия национальных культур...

Летели на вертолете в улус Чарыпча, на праздник начала лета. Рядом со мною сидел не член правительства республики Саха (Якутия), не якут – русский, но тоже для чего-то нужный в правительственных делах, прикомандированный к нам для сопровождения, обеспечения всем тем, что нам потребно. Впрочем, на вид вполне член правительства: в темном костюме, при галстуке, в годах, но с чем-то юношеским, даже отроческим, с чем-то таким безгрешным в глазах, как у людей, проведших жизнь на природе, вдали от больших городов-вертепов. Мы пролетали над якутской тайгой, над Леной, с ее протоками, над белесыми мшарами болот, продолговатыми блюдами озер. Я спросил у сопровождавшего нас ответственного товарища, откуда он родом. Товарищ ответил с готовностью:

– Здесь родился, пятьдесят три года безвыездно.

Мы пролетали над большой, по-всякому текущей, стоящей, огибающей сушу водой. Я осведомился – для поддержания разговора,– каково здесь с рыбой.

– Рыбы полно,– ответил мой сосед, стал ждать следующего вопроса.

Я поинтересовался, какая рыба, хотя любая из здешних рыб была совершенно мне недоступна, поскольку... я лечу в Чарыпчу... Сосед ответил подробно:

– Окунь, щука, налим, хариус, в озерах карась, гольян, в Лене нельма, муксун, осетр...

Забегая вперед, скажу, что гольянов в Чарыпче подавали зажаренными на вертеле, впрочем, это маленькие гольянчики.

Пролетали над болотиной, зеленой, ржавой, большой, как все в Якутии (за исключением гольянов). Было время морошки на наших болотах. Я не мог не спросить у сведущего соседа, каково здесь с морошкой. Он ответил, с выражением легкомысленного самодовольства:

– Морошки полно.

– А клюква?

– Клюквы полно.

– А рябчики, глухари?

– Рябчиков, глухарей полно.

– Медведи?

– Медведей полно.

– А волки?

– Волков полно.

Я играл в поддавки, задавал вопросы с заведомо положительным ответом. Ну, в самом деле, почему бы не быть в Якутии волкам? Но и прервать начатую мной игру в вопросы-ответы тоже было неловко. Окидывая мысленным взором несметные богатства якутской флоры и фауны (те самые, что у нас в Чухарии), я наконец вспомнил:

— А как с оленями?

— Оленей полно. Только севернее. Здесь держат коров, лошадей.

Больше я не находил, о чем спросить.

Понимая мое состояние загнанности в угол, сосед смилостивился надо мною:

— Чего нет, так это брусники. Боров нет, вырубок нет, бруснике негде расти.

На языке у меня набухал, как чирей, один паскудный вопросик. Некоторое время я его загонял вглубь, даже делал вид, что уснул, но он все же вылез наружу. За что по головке меня не погладят...

— А евреи в Якутии есть?— спросил я с таким же видом, как бы спрашивал про барсуков и енотов.

Мой собеседник и на этот вопрос ответил исчерпывающе серьезно:

— В нашей республике проживает более полсотни национальностей. Сейчас к нам приезжают японцы, канадцы, полно американцев. Евреев тоже хватает.

Ну вот, я удостоверился, что в Якутии все есть, гораздо в большей степени, чем в Греции.

Кого скоро не останется в суверенной республике Саха (Якутия), так это нашего брата русских, если... Нас не станет даже на берегах Москвы-реки и Оки, если мы позабудем... нашу историю.

В Чарыпче (и других улусах) якуты справляли свой национальный праздник начала лета. Узаконенный государственный шаман, в меховой беличьей шапке, шаманил перед собравшимся на стадионе народонаселением. Повыступали должностные лица, по-видимому, рапортовали о трудовых и др. успехах. Жара давила анафемская, за тридцать градусов. Солнце било в затылок наповал. Якуты оправдывались перед нами, гостями из всех республик Российской Федерации, тем, что в Якутии лето всего два месяца, остальное зима. Зимой морозы за шестьдесят.

Нашу группу, как было расписано в сценарии, разобрали по трудовым коллективам Чарыпчи, для более пристального рассмотрения и собеседования. Нас с Владимиром Гусевым, председателем Московской писательской организации, профессором, etc., увел мужик очень крепкого телосложения, с лоснящимся от солнца и большой физической силы якутским лицом. Он сказал, что нас берут в свой дружеский круг чарыпчанские кочегары. Ведущий нас мужик, очевидно, был главным кочегаром. Он привел нас на край стадиона, где травяной покров футбольного поля иссяк, а естественный дерн не образовался, пригласил садиться на чем стоим. На обочине стадиона уже сидели, поджав ноги, кочегары Чарыпчи. Без лишних слов приступили к делу: из двух больших молочных бидонов налили в кружки кумыс, достали из полиэтиленового мешка конские мосолыги, срезали с них мясо, подавали гостям. Солнце шпарило нас из зенита; единственное облако в атмосфере — это облако гнуса, наконец сообразившего, где мы сидим.

Разговор с кочегарами, признаться, не клеился. Хранители тепла ни о чем нас с профессором Гусевым не спрашивали, даже как будто не замечали, жевали жесткое лошадиное мясо, прихлебывали кумыс, изредка что-нибудь говорили друг другу по-якутски. На мои вопросы давал ответы ведущий, тот, что нас привел. Выжимка из ответов такова (вопросы опускаю для краткости): «Лучшее мясо у жеребенка, когда он нагуляет двести килограммов веса. Пасутся кони на вольной воле, в тайге. Там же, на вольной пастьбе, доят кобылиц, что не так-то просто, надо уметь. Из надоенного производят кумыс; в чистом виде кобылье молоко не употребляют. Месячный заработок кочегара в Чарыпче около миллиона. Очень тяжелый труд, круглосуточно в котельных, особенно зимой. В отпуска никуда не уезжают, лето короткое, надо заготовить корм скоту. Косят, мечут стога круглые сутки, ладно, что в это время белые ночи. Колхозов нет и фермеров нет. Каждый где-нибудь

работает и занимается хозяйством, держит скот, иначе не вытянешь. С завозом продуктов плохо...»

Сидеть на голой земле становилось невыносимо, конское мясо вышло мне не по зубам, кумыс не веселил. (Однажды в Монголии мы пили кумыс с моим другом, монгольским писателем Эрдэнэ, по образованию врачом-психиатром, он сказал: «Кумыс не пьянит, но приводит в легкую эйфорию».) Мы встали, отряхнулись... Один из чарыпчанских кочегаров на прощание помечтал:

– Чего бы мне хотелось, так это пройтись по аллее Анны Керн... (Вот вам и «ныне дикой тунгуз»...)

– Приезжайте, пройдитесь, аллея Анны Керн где была, там и есть...

– Да нет... Раньше можно было, а теперь на дорогу не заработаешь.

В начале записок этого лета (каждое лето пишу сагу о житье-бытье в чухарской деревне, с полетами памяти в иные места и времена) я посетовал, что не посадил картошку, ибо улепетнул аж в самую Англию. С заинтригованным читателем (ежели таковой есть в природе) надобно объясниться. Так вот: нынче весной я провел месяц на Британских островах, меня пригласили мои друзья, приватно, на основе взаимности: мы к ним, они к нам. Мне предложили повыступать перед теми... ну да, перед теми, кому это интересно. Первое выступление в Доме Пушкина (Пушкин-хаус) в Лондоне, на Лэдброк-Гроув. Дом Пушкина существует уже сорок лет. В его гостиной собираются любители русской словесности, впрочем, здесь читают лекции по искусству, богословию, но главным образом говорят о России, по-русски и по-английски. Здесь можно встретить русофила любой нации; кого не встретишь, так это русофоба.

В тот вечер в Пушкинском доме поговорили мы всласть, чему способствовали полки с книгами хорошо знакомых мне авторов, портреты знакомых лиц на стенах, икона Николы-Угодника в красном углу, но прежде всего довольно редкий в наше время и потому особенно дорогой дух доброжелательного интереса к человеку из России. Меня приняли в лондонском Доме Пушкина как своего...

Я выступил на кафедре славистики в Бирмингемском университете, на курсах русского языка в Бирмингеме. Далее, согласно выработанной моими друзьями программе, предстояла поездка в Уэльс. Со мною поедет менеджер (по-настоящему староста) упомянутых курсов Крис Эллиот. Он мне сказал, что живет в Ворвике, у него жена, дочка, кошка и собака...

Вообще-то Крис – странный малый: когда мы с ним вдвоем в его машине – у него старенький «фольксваген» – вполне разговаривает по-русски, но, стоит попасть в английскую компанию, теряет дар русскоязычия. Он мне сказал, что по происхождению француз, закончил Сорбонну, по профессии экономист. Почему-то провел два года в Нижнем Новгороде, Казани, бывал в Москве, Питере. И еще два года в Эфиопии. Это сколько же у него осталось для жизни в Ворвике, с женой, дочкой, собакой и кошкой? Крису сорок четыре года, он лысый, веселого нрава, водку пьет не по-английски глоточками, а по-русски опрокидывает всю емкость. Крис Эллиот сказал, что пролежал два года в параличе, руки до сих пор плохо слушаются, теперь на пенсии по инвалидности, на службу ходить не надо. Весело посмеялся этому обстоятельству.

Первый наш с Крисом Эллиотом ленч в сельском пабе я описал в стихах, с пропусками и преувеличениями, но близко к натуре:

...и в пабе том провинциальном
от шумных центров в стороне
я пиво пил – принципиально! –
не в стенах паба, а вовне.
Трава повсюду зеленела,
цвела черемуха, вокруг
весна во сне оцепенела;
со мною пиво пил мой друг.
Вблизи канал тянулся узкий,
баржа влачилась в Бирмингем...
Мой друг ни бе, ни ме по-русски,
я по-английски глух и нем.

Истомно Англия дышала
цветочной розовой пыльцой,
закуска легкая лежала,
пел черный дрозд, как Виктор Цой.
Мы с другом искренне молчали,
бокалы пенились; вдали
машины бешеные мчали,
шел дух весенний от земли.
Как вдруг за столик ненакрытый,
от нас ничуть невдалеке
(ногами в землю крепко врытый),
две дамы сели... «Э-ге-ге!» –
мой друг, не знающий по-русски,
сказал, макая в пиво нос...
На леди были чудо-блузки,
а кто такие – вот вопрос,
до сей поры не разрешенный...
Весна в исходе, дни бегут,
мы возвратились к нашим женам...
А пиво было вери гуд!

Дорога от Бирмингема до уэльской деревушки Мейфорд прошла незаметно, всего два часа. Крис Эллиот сверялся по карте. В Мейфорде свернули с большака на автомобильную тропу, асфальтированную (тропа для путника разве что где-нибудь вон там, на холмах), скоро въехали на подворье усадьбы, со старинным барским домом, как где-нибудь в Тригорском: дом белокаменный, с колоннами и портиком. Встретить нас вышел высокий, сухопарый, голубоглазый старик, провел через анфиладу комнат, точнее, залов, с гравюрами, офортами, литографиями на стенах, откликающимися на шаги полами, с деревянной лестницей, ведущей куда-то наверх. Мы пришли к накрытому столу на примыкающей к террасе площадке (стало быть, нас ждали), площадку окаймляли клумбы с цветами; прямо перед нами простирались холмы и долины Уэльса.

Хозяин принес на стол кастрюлю с чем-то жидким, разлил по тарелкам... Может быть, щи? Наподобие наших щавелевых... Мой первый вопрос хозяину: что едим, то есть хлебаем? Хозяин сказал, что это суп из шпината, охлажденный не в холодильнике, а в погребе. В супе из шпината плавали лиловые цветы, растущие и у нас на лужайках. Я спросил, можно ли цветы проглатывать или они для украшения супа? Неулыбчивый хозяин в первый раз улыбнулся: не бойся, глотай. Мы представились друг другу: хозяина зовут Саймон Мид, по-русски Семен.

Да, но где хозяйка, домочадцы? Согласно программе, составленной моими друзьями, а также по заверению Криса, на этой ферме говорят по-русски. Кто говорит? Саймон Мид ни бум-бум. Оказывается, в программе неувязка (что бывает при исполнении всех программ, ибо жизнь состоит сплошь из неувязок): у жены Саймона Мида мама живет где-то на другом краю Англии (благо от края до края рукой подать), старушке 94 года, бедняжка упала, сломала шейку бедра, что случается со старушками во всех странах света (то же самое недавно случилось с моей тещей). Софи находится неотлучно при маме. Да, Софи знает по-русски, меня отправили на ферму в Уэльс в надежде на Софи.

Отобедали; Саймон Мид отвел меня по лестнице наверх в отведенную мне комнату. Каждая ступенька лестницы отозвалась своим звуком. В комнате две постели со взбитыми подушками и тоже картины: гравюры, на них изображены знакомые лица – матушка императрица Екатерина Великая, канцлер елизаветинской эпохи Михаил Воронцов... На полках толстенные тома, с пылью если не веков, то десятилетий... Это потом, пока что только окидываю взором, предвкушая открытие совершенно неведомого мира.

Саймон зовет на первую прогулку по окрестности. Сначала на пасеку, здесь же на усадьбе, в цветущем вишневом, яблоневом саду... Затем по автотропе едем на машине на верхотуру, там высаживаемся – и пешком. На опушке смешанного, преимущественно елового леса стоит деревянный дом из бруса. Саймон сказал, что это – «Рашен-хаус», русский дом. Почему русский? Очевидно, потому, что не дом в английском понимании, а, собственно, халупа на русский манер. В «русском доме» живут дочь Саймона

Мида Рэчел, ее муж Майк, их малое дитя. Рэчел представляла собой крупную, с голыми коленками, большими грудями под простым платьем деваху, собственно, сельскую бабу. Майк небольшенький, в полосатой тельняшке, с отсутствующим выражением на лице, как будто его томила какая-то главная забота.

На другой (или на третий?) день моего гостевания на ферме Саймона Мида он отвез меня полюбоваться замком-крепостью в парке с четырехсотлетними, вершинами в поднебесье, секвойями. Саймон сказал, что это работа его зятя: Майк приезжает сюда и в другие места, где растут реликтовые секвойи, забирается по стволу до вершины, спиливает-срубает то, что отжило. Трудная, опасная работа!

Ночью я перелистывал том за томом архив древнего знатного русского рода Воронцовых – двадцать четыре тома, изданные в России в прошлом веке, по-русски и по-французски. Я уже знал, что Саймон Мид – потомок Воронцовых. Его пращур граф Семен Романович Воронцов служил послом Российской империи в Англии при царице Екатерине и преуспел; при Павле впал в немилость, но удержался, вплоть до воцарения Александра, послужил и при нем; помер в Лондоне в 1835 году. Свою дочь Екатерину граф Семен Воронцов выдал замуж за родовитейшего английского лорда Пемброка (его сын Михаил, войдя в годы, стал наместником на Кавказе, генерал-фельдмаршалом). В семье Пемброков родилась дочь Елизавета, на ней женился сэр по фамилии Мид... Саймон нарисовал мне генеалогическое древо Мидов, в коем он – последний отпрыск (за ним его дети, внуки); он и владелец родовых реликтов фамилии Воронцовых в Англии. Ну да, потому и принял меня: я первый гость из России у него на ферме. В жилах Саймона Мида течет русская голубая кровь, пусть сильно разбавленная английскими кровями; в его долговязом сухопаром теле – белая косточка.

В доме Мидов, в гостиной с камином, с кожаными диванами, гравюрами на стенах, множество книг; в кабинете-библиотеке хозяина, с деловыми бумагами на столе, и того больше. Написанные по-английски книги понятнее мне, чем говорящие по-английски люди. И опять знакомые с детства имена: Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей, Вордсворт, Джек Лондон, Конан Дойл, Гоголь, Толстой, Чехов, Горький, Шолохов...

Назавтра хозяин сварил грибного супу из шампиньонов. Всякий раз спускаясь за чем-нибудь в погреб, выносил оттуда на ладони лягушонка-альбиноса, не видавшего свету, отпускал его в траву. Как-то было неловко влезать в чужие дела, но я все же спросил у Саймона Мида, в чем состоит его фермерство, ведет ли он хозяйство, где его овцы. Саймон сказал, что овцы есть, но мало; принадлежащие ему земли он сдает арендаторам. Он указал на виднеющиеся вдали на склонах холмов строения: «Вон там ферма моего одного сына, а вон там другого». Все ли я теперь знаю об уэльском землевладельце мистере Миде? О нет, почти ничего. Была бы Софи, она бы все, все рассказала.

Когда хозяин отлучился, Крис Эллиот мне сообщил: «Он очень богатый. Он был в Лондоне финансистом, потом купил эту ферму».

Вечером поехали в городок Монтгомери – прелестное местечко (вери найс плэйс), как все городки Англии, чем дальше от центра, тем лучше: уют, спокойствие, доброжелательность, достаток... Мы с Крисом Эллиотом ехали на его драндулете, Саймон на пикапе, наверное, единственном таком во всей Великобритании: замызганном, битом, мало того, с грузом песка в кузовке: хозяин, по-видимому, собирался что-то посыпать песком, да так и не удосужился. На подобных машинах ездят только в России; должно быть, сказались русские гены в натуре уэльского фермера.

В Монтгомери подрулили к трехэтажному, однако маленькому дому. Нас встретили: мистер Джон Гордон Коутс и молодая дама по имени Франсис. Мы прибыли в этот дом согласно программе моих друзей или вне программы, по воле Мидов (с согласия мистера Коутса), не знаю. Джон Коутс сразу сказал, что с ним можно говорить по-русски, с Франсис и того лучше. Он проявил осведомленность в русских замашках (в отличие от Саймона Мида): предложил выпить водки, хотя на дворе несусветная жара.

Кто таков Джон Коутс, я постепенно узнаю из его рассказов о себе... Правда, пока хозяин с Франсис накрывали на стол, Крис Эллиот успел мне

нашептать (вспомнил русский язык): «Джон был профессором в Кембридже, вышел на пенсию и забрал с собой в свою виллу свою аспирантку Франсис. Так и живут на пару с подругой, это в Англии принято. А Джонова жена в Кембридже рвет и мечет...»

Первый рассказ Джона Коутса о себе: «В конце войны я был парашютистом. Меня сбросили в Венгрии, вблизи Будапешта. Я знал венгерский язык. Там меня скрыла от немцев, спасла мне жизнь венгерская девушка. В Будапешт должна была вступить Красная армия. Все так считали, что придут русские солдаты и изнасилуют всех девушек. Когда я в первый раз увидел русских солдат, я обнял мою девушку, сказал им: «Это моя девушка». Ее не тронули. Мы с той венгерской девушкой переписываемся всю жизнь. Недавно я был у нее в гостях».

Второй рассказ Джона Коутса, собственно, не рассказ, а необходимая по его (и каждого англичанина) мнению, самохарактеристика: «Я получаю три пенсии: одну от министерства иностранных дел за службу во время войны, другую от Кембриджского университета как профессор, третью на общих основаниях по возрасту. Мне хватает на все». В Англии главное: хватает тебе на все или не на все. Англичане отлично знают, что такое «на все хватает». Наш «новый русский» понятия не имеет, чего потребно его животу, бесится с жиру.

Самым неожиданным на приеме в доме мистера Коутса было заявление Криса Эллиота... Крис сам по себе представляет набор неожиданностей. Он заявил: «Я разговаривал по телефону с моими родителями. Мне необходимо у них быть. Я сейчас уезжаю». Я чуть не воскликнул: «Ты уезжаешь, а я?!» Но удержался. За столом воцарилась пауза. Крис Эллиот встал и уехал, по-английски, ни с кем не прощаясь. Джон посовещался с Франсис, Саймоном. Я безропотно ждал решения моей участи. Мне объявили: «Сегодня вы ночуете у Саймона Мида, завтра вечером пойдем на гору над Монтгомери, там будет костер по случаю 50-летия Победы. Ночуете у нас. Утром Франсис вас отвезет, ей все равно ехать в Кембридж».

О'кей! Вери велл!

Утром Саймон вынес из погреба лягушонка, пустил в траву. Попили чаю-кофею, кому что по душе. Нельзя сказать, что мы сильно разговорились с молчаливым хозяином фермы, однако нам стало легко друг с другом: вот чайник, вот кофейник, поджарены тосты, газета «Гардиан», рыжий кот. Посмотрим в глаза друг другу и улыбнемся. Сели, куда-то поехали, Куда? Я не спрашивал, не все ли равно. Я находился во власти неведомых, почему-то добрых ко мне сил. По пологим подъемам, серпантинам мы забирались все выше, на самое темя Уэльской горной гряды. Остановились, когда выше стало некуда ехать. Зеленое, синее, белая кипень цветущих садов — остались внизу под нами, вокруг простиралось ржаво-бурое, заболоченное мшистое плоскогорье.

— Это — вершина Уэльса,— сказал Саймон Мид.

Мы постояли, огляделись, поехали вниз.

Я сказал моему доброхотному чичероне:

— Спасибо, Саймон! Ты мне показал свой Уэльс, я этого не забуду. Приезжай в Россию, я тебе тоже кое-что покажу.

Вечером 8 мая (в Англии День Победы отмечают восьмого) поднялись на Городскую гору над Монтгомери. Так сказала Франсис: гора называется Городской. Сперва шли по каменистой дороге, затем по траве на макушку горы. Там собрались монтгомерийские обыватели, на торжественный акт. Лорд-мэр Монтгомери, молодой человек, сказал очень короткую речь, в том смысле, что в Лондоне в Гайд-парке королева зажгла костер, объявила двухминутное молчание, в знак поминовения павших на той войне, а теперь и мы, вслед за королевой. Помолчали две минуты. Дул холодный ветер. Зажгли сложенные для этого ящики. Пламя стелилось по траве. На других холмах Уэльса тоже зажигали костры, тем отмечая 50-летие Победы во второй мировой войне.

Сойдя с горы, сидели у камина в доме Коутса, у живого огня: хозяин, Франсис, Саймон Мид, гость из России. Я читал Есенина, Пушкина, специально взял их для такого случая: почитать англичанам у камина. Слушали, доходило. Особенно слушал Саймон, улавливал звуки чужой ему, но родной его предкам речи. Джон выставил бутылку виски: наливайте и пейте.

Саймон уехал за полночь, Франсис ушла к себе. Джон досказал мне важные моменты своей биографии. Третий рассказ мистера Джона Гордона Коутса о себе перескажу своими словами. В молодости, будучи «парашютистом», он изучил венгерский (и русский) язык. В зрелые годы посвятил себя научной деятельности в Кембриджском университете. Предметом исследования избрал коми-зырянскую литературу, для чего и овладел коми языком (венгерский, коми языки – одна финно-угорская группа). Его докторская диссертация – о коми поэте, впоследствии ученом-филологе Иване Лыткине; профессор Коутс считает его основоположником коми литературы. В 37-м году Ивана Лыткина посадили; по счастью, он не сгинул в лагерях, вернулся. В 60-м году Джон Коутс побывал в Сыктывкаре, повидался со своим героем... Джон принес две неподъемные папки:

– Вот моя докторская диссертация. Ее собирались перевести на русский язык, издать в Сыктывкаре, но почему-то дело остановилось. Раньше мне присылали журналы на коми языке, научные издания, теперь связь прекратилась. Я им пишу, мне не отвечают, не могу понять, в чем дело.

Объяснять профессору Кембриджа положение в нашей когда-то многонациональной литературе... не было настроения. Я сказал:

– Джон, пересылка корреспонденции за границу у нас стала слишком дорогим удовольствием. Дорого, нет денег, вот и не пишут.

– Да, но я готов перевести им доллары...

Я посочувствовал единственному в Англии, а может быть, и во всем западном мире специалисту по коми-зырянской литературе (Франсис – специалист по якутской литературе). А как ему помочь? Не знаю...

Я ночевал в доме почему-то доброго ко мне человека, Джона Коутса, в городке Монтгомери, на границе Англии с Уэльсом, в крохотной комнатке. В восемь часов утра хозяин принес мне чашку чая с молоком. Так принято в Англии: начинать день с чашки чая, подносить чай своему ближнему.

Утром девятого мая ехали с Франсис по зеленым холмам Англии, спрыснутым ночью дождем. Франсис сказала:

– Я уже двадцать лет имею водительские права, но у меня не было своей машины. Это моя первая, мне ее подарил Джон.

Напоследок, накануне моего отлета домой, пьем пиво в Лондоне, в пабе у станции метро Квинсвэй (Путь королевы, еще есть Кингсвэй, Путь короля) с корреспондентом «Правды» Павлом Богомоловым. Пиво черное, бархатное, солодовое; мера пива не кружка, а пинта – высокий бокал толстого стекла. Перед тем как идти в паб, я купил в рыбном ряду на Портобелло Маркет копченой макрели; пьем английское пиво по-русски, под рыбу. Англичане пьют так или заедают орешками, соломками, как птички. Мы просидели с Павлом в пабе, никем не тревожимые, битые два часа, все говорили, говорили. Говорить по-русски с товарищем в Москве, Питере или в нашей деревне Нюрговичи – одно, а в Лондоне совсем другое – утонченное удовольствие, деликатес.

11 сентября. Сельга. На дворе полное затишье, низкое небо, туман, без дождя. Озеро с опрокинутыми в него лесами бестрепетно. На небе семейство ласточек-сеголеток: летают, радуются умению летать. Да и как не порадоваться?! Пора в дорогу к другим берегам.

Вышел, постоял на траве, на росе, стало так, как будто в первый раз только увидел, не надышался. Захотелось остаться, стало жаль расставаться...

По радио сказали, что девятого, четырнадцатого и двадцать первого сентября возможен дискомфорт для гипертоников. Я, гипертоник второй степени, девятого парился как очумелый, хлестал себя можжевеловым веником в черном зеве тóпленной по-черному, то есть курной баньки, полоскался в ручье, как воробей в луже, выпил полбутылки водки; дискомфорт обуял меня десятого, легкий, с маленького похмелья.

Ночью прикидывал, давал себе отчет, стал ли я человеком, как предполагал по прибытии в Чухарию. Ответа не нашел, да его и не бывает: становление человека заканчивается, когда... Затем поминальные речи, каким он был человеком.

Господи! Выглянуло солнышко, и так зарделись наши рябины, наши калины! Озолотились лиственные умытые леса на том берегу.

Бегу!